

Алексей ГАНИН

## ИВАН И КОРОВА

Бобылю Ивану Дементьеву, по-деревенски Ваньчахе Дохлому, приснилась несурзацица.

Сидит он будто бы ночью один-одинешенек на назму, на мерзлой коровьей калышке, и смотрит в угол. Зачем он сидит — не знает, а идти тоже некуда.

Смотрит Ваньчаха в темный угол — и ничего: куча черной соломы да гнилая грабельница.

Вверху на крыше дыра. В дыре мутный столбик света блестится, будто нога удушенника.

— Му-у-ух ты, Ваньчаха, дохлый Вань-ча-ха, — вздыхает, чавкает кто-то в углу.

— Господи, помилуй... Аминь, — поветрием несется в испуганной голове Ваньчахи.

— Никак, корова.

Хотел уйти, а не мог. А уши все глубже врастают в тишину полуночи, и ясно: в углу кто-то стоит, грузно ворочается...

Смотрит Ваньчаха в угол и впрямь видит: в углу в темноте ворочается корова.

Жует корова гнилую солому, а сама уставилась глазами в мужикову душу — совсем как обиженный человек.

— Ишь ты, — и, будто ужищем, обида и страх охлестнули Ваньчахины кукурки.

— Двор, кажется, мой гнилой пошатнулся. Вон и дыра на крыше, и стропила торчат, — все мое. Только откуда корова? — И пуще захлестывает его страхом.

Явственно видит теперь Ваньчаха корову и ту свою корову, сухую, однорогою, будто сухая валежина, то есть ту самую корову, что сдохла еще в позапрошлую зиму.

— Узнал? — кивает ему корова и человечески говорит: — Крыша-то совсем пакнула, покрыл бы...

— Правильно. Крышенка сквозит, — пробует отшутиться Ваньчаха. — Надо бы... только зачем? Живота у меня в хлеву не густо, рази вот што подо мной мерзлая коровья калышка, да правду молвить, и соломишки нету, а воровать поздно-вато уже... да и ни к чему...

Шутит, а сам ни живой, ни мертвый.

— Не ладно што-то... В том же самом углу сдирал я с нее прикипевшую к ребрам шкуру...

— Верно, — поддакивает корова...

— И шкуру пропил.

— Правильно.

— Перекреститься, — думает про себя Ваньчаха, да забыл, где руки, а корова ближе подходит к нему, кивает ободранной головой, вздыхает.

— До-о-охлый ты дохлый, и сам ты не бе... э... и мне житья не было...

— Ну, так и што... Пусть я и Дохлый, от слова не сбудется, — храбрится Ваньчаха перед коровой. — Только какая моя такая вина, что сдохла моя корова? Ну, шкуру я, справедливо, сдирал и деньги... и все такое... так рази это тебе обида? Было же, скажем, у меня настоящее хрестьянское имя: «Иван Дементьев». Сам земский, бывало, и тот: «Ну, Иван Дементьев, сымай портки, пороть будем»... Ты понимаешь? Иван Дементьев. А теперь? Пропало... Остался один Ваньчаха, да и тот с негожим, собачьим прозвищем... Вот и морокуй, ежели ты настоящая корова, кому обидней? Рази хрещеное имя шкуре чета?

— Верно, Дохлый... Правда твоя, — и пристальней смотрят друг на друга мужик и корова, будто судьбой меняются.

— Только гляди: моя судьба тебя не минует. Я тебя кормила, а ты меня от корму отучивал. За что ты пинками выгнал меня из зеленово яру? Рази трава — не хлеб коровий?

— Слово твое справедливо. Не спорю. Может, я бивал тебя за покосные травы. Рази я спорю? Только в этом же самом яру, — я говорю тебе, корова, как Богу, и врать мне непошто, — соседни избили меня чуть не до смерти. Десять проломин на голове оставили. Срамили, будто моя корова всю траву сельянку выбила... Рази приятно?..

— Ты пинками да батожьями избивал меня, и в замарашкином поле, и по сусекам, и всюду...

— А меня? Рази только в зеленом яру меня били? Сколько раз избивали меня жердьем да кирпичами на гульбищах, а за что?.. Я-то тебя за дело — не варзай, коровам на то и поскотина, штобы в полях не мотались. А меня — просто для праздника били. Работы кулакам не было, да девки заглядывались. И по воле родительской меня били, и за подати у старосты били, да еще как, — исподволь, березиной просоленной. Э-эх!.. А рази цареву службу ты зазнала? Может, ваш брат — корова травы не видала эстоль, как рожа моя вынесла зуботычин да оплеушин.

— Верно...

— А пошто же я — Дохлый? Может, от Господа

Бога мне тыщу лет на житье положено, а я полста не вытану... а помру, так и шкуру мою пропить некому...

— Все верно... Только за что ты, Дохлый, сжил меня с белу свету?.. Поля не твои, луга соседские, правда, а убил ты меня — в своем огороде... я ведь нечаянно забрела на капустницы, а ты орясиной охватил мне спину, за капустный листок ты орясиной отбил мне рога, а дошла я сюда, упала, ты, потный и злой, пинал меня в бока, лежачую топтал каблучищами... рази я только от соломы зачала?..

И видит Ваньчаха: корова только на шаг. Дымятся голые коровьи бока, скалятся жёлтые зубы, а из перехваченной шеи сочатся красные струйки, льются в навоз, красят гнилую солому.

И нутро у Ваньчахи перевернулось...

— Грехи мои, вольные и невольные, многотрудные, справедливо; только напраслину говоришь ты, корова, будто нарочно сжил я тебя со свету. Каменное сердце мое, тяжелое, да рази я — враг? Рази я сам отяжелил себе душу? Вот ты давно уже мертвая, и шкуры твоей в помине нету, а ты всяку обиду помнишь... У меня тоже душа, и все-таки душа человечья, обиды у меня на возу не уложить, — да рази я мертвый буду людей беспокоить? А вот ты пришла — блазнишь. Где такая обида, што не простится?..

— Му-у-у-ы-ых, ты, Дохлый, — гневно мотает ободранной головой корова. — Я целую осень лежала в этом углу. Дни прилетали ко мне, ночи прилетали, садились на крышу и улетали... Серые тучи ползли надо мной, ползли и плакали. А я ждала, жевала гнилую солому и радовалась... Вдруг телка моя родилась мертвой...

— И то верно... — сокрушенно вздыхает Ваньчаха. — В лугу бестравье — я виноват. В полях подпарины — стравил Ваньчаха.

— Ну, за что ты пинал мне бока? За што ты убил мою телку? Жить бы ей до настоящей весны. Щипать бы ей зеленые травы, а ты еще в брюхе убил мою телку. В зимние сумерки родилась она, я лизала мертвую голову и умирала. А ты пришел и перерезал мне горло, отнял последнюю радость.

И видит Ваньчаха, как мертвой тоской помутились глаза коровьи.

Вспомнилась жизнь своя и коровья, будто не жизнь, а худая дорога.

Почто она? Кому понадобилась? За что бессловесной твари такая участь, а человеку положен зарок животный? Снова бы жизнь-та... сначала, — сокрушается Ваньчахино сердце...

— Коровьи слезы — большие слезы... справедливо; а я вот забыл, какие у меня слезы. Ты помнишь, была у меня баба, царство ей небесное, хорошая баба. В ту зиму была она тягостная, на тех порах была уж, да не в час вышла. Теплое пойло тебе понесла, да видит, ты подыхаешь, — перепугалась, с испугу запнулась за мерзлый приступок, упала да тут и родила... Пригожий мальчонка вышел. Живой. Вырос бы, знаешь, тоже утеха родительская на старость. Да вот, поди ж ты, какая выпала неудача: ты сдохла, баба от тоски да от сухоты преставилась, а вскоре и сынка Бог прибрал. Веришь ли, корова, похоронить было не на што. А ведь, ежели к слову, не сложни ты, может, и баба моя жила бы, и сын мой уж тятюку кликал. Справедливо: телка твоя — хорошая была телка, краснопестрая, только напрасно ты выкинула ее, и сама ты сдохла напрасно. Што я теперь сiju без роду, без племени, с негожим собачьим прозвищем, на калышке, и свету мне — ты да дыра в окошке. Вот и суди — красно ли. Был Иван Дементьев и не стало...

— Верно, Дохлый.

— Он самый.

— А Ивана Дементьева вовсе и не бывало.

— Пусть и не бывало, только уйди, не блазни.

— И не бывало, — сердито приступает корова. В самую бороду тычет ему холодную морду зазорно. Дышит ему в лицо падалью да гнилой соломой, храпит:

— Дохлый ты. Был Дохлый. Дохлый и будешь...

— Я те оброшную книгу достану — пачпортом ткну тебе в рыло. Стерва...

И такая прошибла его обида.

Хотел он, Ваньчаха, по старой привычке, дать ей пинка, топтать каблучищами, чтобы до грязи, да страхом взьерошило голову.

А корова пуще оскалила широкие зубы. Яро мотнула ободранной головой, пырнула оставшимся рогом в Ваньчахино брюхо и понесла...

И видит Ваньчаха, несет его ободранная корова, будто вихрь, без пути, без дороги.

Кругом пустыри да запалины, да болота. Ни души, и небо чёрное, как яма...

И душно стало ему, от крови животной душно, от прелого мяса. И вскрикнул Ваньчаха.

И проснулся.

А в окна смотрело утреннее солнышко, ласковое, веселое.